



Анатолий Дмитриевич Знаменский.

«Прометей 319»

Нас было триста восемнадцать.

Триста девятнадцатый появился после, когда никто не ждал пополнения.

Поздней ночью отрывисто хлопнула дверь барака. У порога за клубился мороз и, распластавшись, болотным туманом потянул к нарам. На мокром, осклизлом

полу я увидел ноги в рыжих покоробленных сапогах с завернутыми голенищами. Рассмотреть остальное мешали сушившиеся над железной печкой портянки. Смердящие, пожухлые, они висели в несколько рядов, поделив барак на две половины.

Сапоги?

Все мы, триста восемнадцать штрафников-военнопленных, здесь, в Норвегии, давно таскали деревянные колодки и эрзац-лапти. А тут у порога притопывала пара сбитых и все же фасонистых сапог с вызывающе загнутыми носками. С заворотов небрежно свисали порванные ушки.

Я думал, что наблюдаю за вошедшим в одиночку. Вокруг храпел, стонал и мучился после тяжелого дня пленный люд. Ярко пылала пузатая лампа в пятьсот ватт. В разящем свете и лиловых тенях бредово сместились очертания двухъярусных нар, фигур спящих. Слепли от мороза стекла оконных переплетов. Но спали не все.

-- Кто там? Проходи! — окликнули новичка.

Подо мной скрипнули нижние нары. Севастьяныч, наш выборный старшой, закрихтел, высунул стриженую угловатую голову навстречу вошедшему:

-- Свои... — глухо, равнодушно сказал человек у двери и шагнул на голос. Резкая, на летучую мышь похожая тень сломалась в углу и вдруг, метнувшись книзу, исчезла под сапогами.

Под лампой, в трех шагах от меня, стоял скуластый парень в длинном ватнике без хлястика и немецком зимнем картузе набекрень, с котомкой за плечом. На сером, заморенном лице, как на негативе, белели вылинявшие коротенькие брови. Расстегнутый ворот старой гимнастерки обнажал жилистую шею и крепкие шишаки сходящихся в разрезе ключиц. На них холодно трепетал свет. Новичок был еще силен — плен, видно, не успел еще истощить его тела.

Расспрашивать людей и вообще много говорить в лагере не принято.

Но когда всякий новый человек появлялся в нашем бараке, именуемом на немецкий лад «блоком», вместе с ним входила его слава: сюда не попадали случайно. Севернее же нашего лагеря, по общему мнению, был конец света.

Севастьяныч пытал новичка взглядом и как бы приценивался: было в парне что-то наособицу отпетое, равнодушная готовность ко всему, что уготовит ему не сегодня-завтра судьба.

-- Бежал? — вполголоса спросил Севастьяныч, по привычке оглядываясь на нары.

-- Да нет... — усталым голосом и с каким-то небрежным жестом, возразил новичок. — Так, пустяки. Попал в непонятную, вроде власовского джаза: семеро дуют, один стучит. Ну... накрыл там одного пыльным мешком...

Давно уж все привыкли к этому старинному жаргону, нет-нет, да и проскальзывали такие слова у нас, даже когда говорил бывший учитель или агроном. Но в этот раз нельзя было не почувствовать некое блатное щегольство и плотную пригонку слов одного к одному — тут был знаток «фени», определенно. Не мог он унизиться до ясных слов: попал, мол, в такую бражку, где каждый спешит донести друг на друга, а именно так вот — «семеро дуют, один стучит»...

Парень выразительно шевельнул тощую котомку («пыльный мешок»), лениво добавил:

-- Пока дело разбирается — к вам. Следственный, стало быть... Место найдется?

Первые нары стояли так тесно, что в промежутках едва мог пройти человек. По соседству со мной вчера освободилось место — схоронили Зайцева.

Старшой молча кивнул, парень боком втиснулся в проход, бросил на голые доски свою котомку и, легко опираясь руками, вскочил наверх.

-- Зовут-то как? — шепотом спросил Севастьяныч.

-- Володька.

Неловко скорчившись под низким жердевым потолком, парень стянул с себя ватник, расстелил, сунул в голову котомку и лег спиной ко мне.

Кажется, я громко вздохнул, вспомнив другого Во-лодьку, что занимал место по соседству до Зайцева. Новичок понял, что я не сплю, и повернулся на другой бок.

-- Ишачить куда гоняют? — спросил он хрипло.

-- В лес. Дрова пилим...

Нужно было бы еще сказать, что дровами у нашего полустанка грузились составы для южных цементных заводов. Немцам с осени прошлого года понадобилось очень много цемента для дотов: они

отступали по всему фронту.

Но я не сказал этого. Я думал о языке новичка, о слове «ишачить», жестоком и обидном, которое могло явиться в обиходе лишь в самую жестокую пору, когда сама человеческая жизнь, не говоря уж о работе, теряла какую-либо цену и смысл.

Меня привлекло вдруг лицо соседа, изуродованное багровым шрамом. Рваная рана оставила багровую подкову от виска до подбородка — несмываемое клеймо.

-- Немцы? — вопросительно кивнул я.

-- Не... По пьяному делу... — с издевкой глянул он на меня и прижмурил свои короткие, белые ресницы.

Бережно, будто по незажившей ране, провел ладонью по щеке и вдруг засопел. Поздний час, тяжелый дух барака морили в сон.

«Что за человек?» — озадаченно подумал я, засыпая.

Ночь в лагере — короткое спасение от изнуряющего дня, она ощущается нами как мгновение. Не успел уснуть, тело еще болит и просит отдыха, а на вахте уже бьют по рельсу, стеляще и тревожно звучит проклятое железо, за проволочной зоной поднимается оголтелый собачий лай и вой. Немцы-надзиратели бегут вдоль барачков, стаскивая с нар всякого, кто рискнул нарушить режим. Около кухни во тьме выстраивается черная молчаливая очередь, звякают котелки, плескается вонючая, жидкая баланда — рабочий паек. Запах нечищенной картошки, брюквы и рыбной сырости сводит челюсти.

Выход на работу «без последнего».

Последнего бьют резиновыми палками и железными воротками в острастку остальным. Не задерживайся!

Я спешил к вахте, пытаясь увлечь нового соседа, но безуспешно. Володька собирался слишком уж неторопливо, старательно и умело наворачивал портянки перед дальней дорогой, как старшина-инструктор, обучающий новобранцев. Он вышел из блока одним из последних и все же дошел до ворот непобитым.

Я видел его издали. Володька шел снежной тропой, сильно сутулясь, уткнув круто посаженную голову, зевовато оглядываясь по сторонам.

Было в нем что-то волчье. Точно так при облаве неторопкой тяжелой рысцей уходит в лесистую логовину, наверное, матерый волк. Гончие псы могут и догонять его, но ни один не рискнет первым схватить. Не снижая однажды принятого машистого бега, волк лишь чуть повернет голову, рванет клыками — надвое перехватит горячую, неопытную собаку. И дальше...

За воротами лагерный люд разбивался в пятерки. На каждую — сани с нехитрой конской упряжью, только без привычной дуги. Человек-

коренник набрасывает на шею себе чересседельник, схватывающий концы оглобель, берет их под мышки, а двое пристяжных закидывают на плечи каждый свою постромку. Остальные двое упирают шестами в заднюю подушку саней.

-- Ржать хотя, гады, дозволяют? — спросил Володька, вооружаясь шестом.

Никто не ответил. Человек этот не хотел становиться в оглобли ни при каких условиях, и в этом его нежелании было что-то обидное для остальных.

Процессия растягивается вдоль дороги. На делянку, за пять километров, мы везем пустые сани, а вечером придется доставить к лагерю на каждых по два кубометра дров. Потом перегрузить в вагоны.

Узкая дорога словно канава в глубоком снегу. Охраняют нас четверо ветхих немцев из тотальников. Двое идут впереди с карабинами наперевес, двое замыкают-строй. Зимой охрана ослаблена, собак нет. Отсюда не так далеко до шведской границы, но куда побежишь, если вокруг снег по пояс, а единственная тропа ведет к станции и контрольному пункту?

Голубое норвежское утро с порхающими снежинками постепенно бледнеет, проясняются очертания деревьев. Поднимается ветерок, взвихривает порошу, дорога пятнится отпечатками деревянных колодок и лаптей. Шаг в шаг, дыхание в дыхание, вслед убегающему полозу идет каждый из нас...

На делянке чернеют остатки вчерашних костров. Старший конвоир Генке — чисто выбритый, кривоногий старик — кладет зажигалку на пень и отходит в сторону. Он доверяет зажигалку нам — нужно развести костры для конвойных по углам деляны и один для себя. Костры разгораются. Севастьяныч остается истопником для конвойных, а нам пора лезть в снег, валить лес.

Я поднял с саней двурукую русскую пилу, предложил Володьке второй конец. Он скептически глянул на пилу, потом на мои острые плечи и длинные руки, отвернулся.

-- Таскать тебя на ней? — бормотнул он и, подхватив станковую лучковку, шагнул к ближайшему дереву в одиночку.

-- Волчуга! — сказал старик Федосов в спину Володьке и перехватил конец моей пилы.

Мы отоптали снег лункой вокруг первой шершавой ели, а Володька мешкал. Он долго стоял у соседнего дерева, задрав голову и замороженно глядя на вершину. Обглоданный морозами хвойный шпиль весь был покрыт ледяной чеканкой и, кажется, позванивал на ветру.

Володька беззлобно посмотрел в нашу сторону, вздохнул:

-- Ох, высоко от нас нынешняя горбушка с баландой! На са-а-мой верхотуре!

И добавил:

-- Пыхнет, сволочь, в снег — ищи ее потом до вечера! — и со злостью рванул по стволу блестящим полотном лучка с хорошо разведенным канадским зубом.

...К вечеру мы выбивались из сил.

Мы пилили по три и четыре кубометра на брата при норме пять. За это нас выдерживали в лесу до глубокой темноты. Тогда запрещалось подходить для обогрева к огню, конвоиры стреляли по нашему костру.

Но страх никогда еще не удваивал человеческие силы.

Худой, нескладный итальянец Джованни и его напарник — рыхлый, с выбитыми зубами француз из Лотарингии Жан уселись в глубине делянки на хвою, под прикрытием поваленной сосны. Им все равно. Даже выстрелы не смогли бы теперь поднять их и заставить пилить.

Володька подсел к ним, закурил тоненькую самокрутку, с любопытством рассматривал незнакомых людей. Парни были раздавлены работой, голодны, сидели плечом к плечу, и каждый безучастно следил пустыми глазами за полетом белых снежных облаков над верхушками леса. Куда плыли облака? Может, в южную сторону, к ломбардским долинам и виноградникам Лотарингии?

Люди были беспомощны и жалки. А Володька, как видно, не терпел человеческой слабости. Путая немецкие и французские слова со своими, русскими, он то пытался расспрашивать их о чем-то, то грубо материл обоих. А они пугливо оглядывались на него и беспричинно улыбались, поглядывая на окурок, закушенный в его синих злых губах.

Окурок трещал, обжигал губы и пальцы. Но Володька упрямо продолжал сосать его, поджимая рот, морщась и сдвигая к переносью коротенькие брови. Потом злобно отшвырнул в сугроб. В белой целине снега осталась черная метка — будто пулевой след. Соседи разочарованно вздохнули, проследив жадными глазами полет крошечной теплой искры.

-- Тебя, стало быть, Жаном зовут? А тебя — Жованни? — привстав на колени, спросил Володька. — Оба, значит, вы Иваны в дословном переводе, а — слабаки. Как же так?

Я присел около, круто потянул его за рукав:

-- Отстань от людей! Оба с прошлой недели на тот свет лыжи направляют, не видишь, что ли?..

-- Откуда они взялись тут? — недоумевает Володька.

-- То-то и оно!

Откуда взялся в норвежском лагере француз, и в самом деле никто не



знает. Зато история Джованни известна кое-кому из нас. Ее нужно хранить в тайне, но я почему-то доверяюсь Володьке.

В прошлом году итальянец перебежал к нашим партизанам. Его там не успели, еще как следует проверить, как немцы взяли отряд в клещи, мало кто спасся.

Фатальная судьба! Если немцы установят личность Джованни, ему несдобровать.

Володька чувствует себя так, словно за ворот ему насыпали мякины. Лапает себя за карманы, вздыхает, готов, видно, свернуть новую сигарку. Но в карманах у него пусто...

Совсем стемнело. Конвой приказал строиться.

В лагере существует час всеобщей благоговейной тишины. Это час вечернего принятия пищи.

За время войны многие узнали, что такое голод. Но что такое психический голод, то есть постоянное, многолетнее голодание, заполняющее все существо человека, как неуголимая жестокая страсть, когда существуешь за счет собственного тела, костей и даже костного мозга, знают, по-видимому, только люди, вкусившие блокады и плена.

Котелок удивительно мал, наполняется он мутной жижей, едва прикрывающей ржавое донце. И кусочек эрзац-хлеба — настоящего лакомства. Хлебную пайку называют горбушкой, крылаткой, пташкой — на разные лады. Хлеб исчезает в наших пустых желудках мгновенно.

Люди сидят на нарах, обняв котелки, судорожно двигая челюстями, молитвенно созерцая убывающую порцию еды. И в ней — жизнь...

После того как опорожнили котелки, еще сильнее хочется есть.

Только невероятная усталость и слабость могут заставить уснуть голодного. А во сне он видит еду... Это наваждение.

Снятся ему горы пельменей и желтая разваренная пшенная каша, заправленная топленным маслом, и вареники в сметане, а то — разливанное море молока и кирпичная кладка из добрых формовых буханок.

Перед сном кто-то не выдерживает, пытается рассказать, какие яства приходилось ему отведывать дома, в колхозе, на свадьбе и у соседа на именинах, каким глупцом он был, не доев однажды сковородку жареной картошки в доме у механика МТС... Его обрывают грубо, зло, с откровенной ненавистью к человеческой слабости. На разговоры о пище по общему молчаливому согласию давно наложен запрет. Надо сохранить силы, не травить себя воспоминаниями.

Володька после еды сидел не разуваясь, скрестив по-азиатски ноги, молча и тупо уставясь глазами куда-то мимо меня, в пустоту, и в лице его

застыла глухая сосредоточенность.

-- Как думаешь, раздачу теперь кончили? — вдруг спросил он.

-- Пора бы... — сказал я.

Он свесил одну ногу с нар и неуловимым движением извлек из-за голенища нож.

Нет, не какую-нибудь отточенную железку, которую легко спрятать даже и в лагере, а настоящий «косарь», за который и в мирное время не сносить головы. Он сунул его поближе — в нагрудный карман ватника, спрыгнул и, прихватив котелок, исчез из барака, Никто не обратил на него внимания.

Я не спал, когда он вернулся.

Володька поставил на нары котелок, полный жидкой каши — того, что, по моему представлению, оставалось на дне котла после раздачи супа, и стоя начал есть.

Подбородок его приходился в уровень со вторыми нарами, и котелок стоял у самого лица. Локти, прочно устроенные по обе стороны, почти не двигались, но зато уши ходили вверх и вниз с завидной методичностью, чавкал рот.

Лучше бы уснуть, не травить себя! Но я не мог спать.

Хотелось огреть его табуреткой, вырвать котелок, хотя бы глянуть в глаза. Заглянуть, какая мысль жила там в неподходящую минуту, под этими коротенькими, вылинявшими бровями! Но я лежал, полуприкрыв веки, добросовестно старался уснуть. Я ведь не верил, что он так просто достал эту кашу, не верил даже в силу ножа, потому что у поваров на кухне хватало и ножей, и тяжелых мешалок, чтобы отвадить любого храбреца раз и навсегда. Мог этот новичок оказаться обыкновенным стукачом, а кашу такие получают из рук шефа... Только те, правда, не носили бы ее в общий барак...

Он, конечно, знал, что я не сплю.

Звякнув ложкой о днище, Володька лениво повернулся и вдруг поставил котелок с торчащим черенком мне на грудь.

-- На. Заскреби там, — спокойно и даже как-то деловито сказал он. — Заскреби и — помой.

Как возненавидел я его в эту минуту! Но руки мои жадно и благодарно схватили котелок, обильно испачканный изнутри кашей-размазухой.

Нет, он дал мне вовсе не пустой котелок! Там еще можно было набрать три-четыре ложки еды... Три-четыре ложки в иное время способны продлить человеческую жизнь на целые сутки! Сутки жизни...

Я съел его дар, но с этого дня стал смотреть на него как на выродка.

А Севастьяныч исподволь проникался к Володьке доверием.

В следующий вечер наш выборный старшой долго сидел на его нарах,

расспрашивал о жизни, рассказывал и свою историю, и я был по их молчаливому согласию свидетелем разговора.

Слава богу, люди никогда, даже в самых опасных обстоятельствах, даже в бараках с длинными ушами, не опасались при мне открывать свои души. И, может, поэтому мысли мои всегда странным образом совпадали с раздумьями товарищей. Любил и ненавидел я не в одиночку, а вместе с людьми.

Севастьяныч склонился к Володьке и будто дремлет. Он застит мне электролампочку, и я вижу его сутулые черные плечи на зыбком фоне света. Храп и бормотание спящих надежно гасят его тихий, глуховатый голос.

Старик в оккупации под Ровно работал конюхом в немецкой комендатуре, куда будто бы нанимался добровольно. Он открыто рассказывал об этом и раньше, чтобы не возбуждать излишней подозрительности немецкой агентуры здесь, в лагере. Но я всегда чувствовал, что этот человек «шел в услужение» не без важной причины. Я просто очень хорошо знал его — это не ходячее брюхо, а наш русский человек, до времени обросший старческой бородашкой.

Володька же не понимает этого, а может, и не хочет понимать. Он вдруг вскакивает на нарах, толкаясь головой о жерди потолка, стискивает пятерней плечо старика и глухо матерится:

-- К гадам пошел?!

Вместо лица Володьки я вижу один гневный багровый шрам.

Севастьяныч спокойно сбрасывает его руку с плеча:

-- Лежи, не сепети. Слушай дальше...

В голосе его я слышу сожаление.

-- Дальше все было бы хорошо, брат ты мой, да один случай подвел, прости господи. Потерял я ту важнецкую должность и боюсь, не простят мне этого люди...

Я подвигаюсь на самый край, напрягаю слух.

-- Приехал один раз какой-то важный чин...-- продолжает Севастьяныч. — Не знаю точно, как называется. То ли обер-штурмфурер, то ли выше...

Он так и говорил: фурер.

-- Приехал, стало быть, и нужно везти его в соседнюю деревню в тарантасе. Лесом... Сел рядом с ним сам начальник полиции, сволочь земляная, а меня в кучера...

Старик вздыхает, склоняется ниже к Володьке.

-- Посмотрел я на обер-фурера, когда садился на козлы. Ничего себе немец, пожилой, представительный, и глаза умные. Вот ведь и среди них попадаются человечьи физиономии... На этом я и погиб. Стал он



расспрашивать, заметь, на чистом русском языке, кто я, да откуда, да сколь земли до колхозов имел. А я, правду сказать, никогда в бедняках не ходил и презираю это занятие... И чую — по нраву моя биография ему пришлась. «Бауэр!»--говорит. Дельный мужик, значит... Потом спрашивает, дьявол, так, запросто, по-свойски у меня: что, мол, дед, думаешь насчет войны? Победим мы Россию или, может, нет? Словно колом меня по голове огрел, паразит. Что ему в моем положении ответить? Сказать: победите, мол, — человек же умный собой, плюнет он в спину мне, за червя сочтет. Знает ведь он, гад, что на самом деле-то я думаю. Интересуется на откровенность! Но скажи: нет, кишка у вас тонка, мол,-- запросто пулю в затылок посадит. Ему что? А жить-то ведь хочется, брат ты мой! Жить! Да и не сам я по себе жил до этих пор, людям много задолжал... Как ответить?

Н-ну... Подумал я маленько, коней потревожил кнутиком для доброго бега и говорю, не оборачиваясь: «А как, господин офицер, знаете ли вы приблизительно численность вашей армии?» «Знаю, конечно», — отвечает. «Что ж, — говорю, — хватит, ли по одному вашему солдату хотя бы на каждую нашу деревню, на каждую заимку?» Слышу, вроде бы усмехнулся он моему вопросу и серьезно отвечает мне: «Да, конечно, не больше как один наш солдат придется на каждую русскую деревню. Только он гораздо лучше ваших воевать умеет...»

«Эва! — сказал я тогда. — Да уж как бы ни умел, а занятие это вовсе бесполезное! Потому — одного-то вашего солдата у нас бабы у колодца... коромыслом, запросто... Тут и кончится все его умение...»

Я поднялся на нарах, пораженно уставился на рассказчика. Что же дальше-то? Шрам на Володькином лице поблек, стал разглаживаться и пропадать в сумраке.

-- Слышу, трогает обер-фурер за плечо и подает пачку сигарет. «Не сробел,-- говорит,-- бауэр, бери от меня лично и кури на здоровье. Уважаю, — говорит, — достойного врага!» А сам задумался, потом и до конца поездки рта не разжимал. Видать, озадачил я его этой своей арифметикой, будь она неладна! Потому что назавтра списали меня с конюшни — ив лагерь, как не внушающего им доверия. Вот, брат, как я опростоволосился... Ведь нужно ж было еще поработать там, в комендатуре-то...

Старик замолчал, о чем-то сокрушаясь. А Володька матерно выругался и заметил с ехидством:

-- Рожи у них и впрямь благородные иной раз... А в рот палец не клади!

Они долго молчали. Потом Володька рассказал свою историю. В лагере, где он содержался, выследили доносчика и долго не могли убрать

так, чтобы избежать репрессий. Володька не выдержал, положил в котомку кирпич, подстерег провокатора в уборной.

-- Сидишь? — с привычной леню в голосе спросил он рылатого парня.  
— Ну, сиди...

И сплеча ударил его мешком по голове. Подозреваемых в убийстве отправили в зондер-блоки. Володька прибыл в наш «Северный тупик»...

В конце дня старший конвоир Генке застрелил у костра Жана.

Француз, сутуло горбившийся над угасавшими поленьями, после выстрела сидел несколько мгновений неподвижно и вдруг, словно подушка, мягко повалился ниц, лицом в пепельную грудку углей.

Ничего выходящего из лагерных правил как будто не произошло, но погрузка бревен в этот вечер затянулась у нас дольше обычного, поднялась стрельба, и конвой поспешил снять нас с делянки пораньше, до темноты.

Жана положили на воз. Он лежал, уставив в безучастное небо черное, обезображенное лицо. На морозе горько дымилась припаленная одежда.

Джованни совсем ослабел.

-- Ты нынче станешь в коренники, — сказал мне Се-вастьяныч. — Еще здоров, слава богу! Итальянца возьми в пристяжку, пускай за оглоблю придерживается!..

Мои сани пошли вторыми. Прямо передо мной вразвалку двигался Володька, он справлялся в передней упряжке.

Самое трудное — вывернуть груженные сани по рыхлому снегу к наезженной дороге. Полозья глубоко, на всю высоту копыльев тонут в растоптанной крупитчатой каше, а на возу — без малого тонна и обгорелый, похожий на огромную головню дымящийся человек.

Я падаю всем телом вперед, рву влево, потом с левой же ноги бросаюсь в другую сторону. Трудно скрипят оглобли. Впереди сноровисто орудует Володька, и мне кажется, что и мои замыкающие стараются не хуже — воз кое-как выползает на дорогу.

Сразу становится легче. Но здесь, на торной дороге, я пугаюсь. Я чувствую, как тяжело держать левую оглоблю. Джованни весь положился на меня, виснет, едва передвигая ноги. Но этак и я не выдержу до конца пути. А предстоит еще и погрузка вагонов.

-- Ну ты, Древний Рим! — хриплю я в ярости, не поворачивая головы. Шею нестерпимо режет узкий лошадиный чересседельник. — Полегче, друже! Крепись как-нибудь, пропадем! Не трактор же я...

Он пытается идти самостоятельно, плотнее влегает в постромочную петлю и, натягивая, будто повисает в ней. Очень кстати я вспоминаю вдруг, что в ряду прочей упряжи на лошадь надевают седелку, чтобы не

потереть спину животного. А в лагере до этого еще не додумались...

Бежит впереди полоз, поскрипывают Володькины сапоги на снегу. В висках болезненно пульсирует кровь. «Пять верст, пять верст, пять верст!» — напряженно стучит пульс. Удастся ли ему достучать до освобождения? Даже до конца нынешней смены?

Мы одолели не более километра, и Джованни вновь повисает на мне. Падать на дороге ему нельзя — пристрелят на месте как саботажника.

Чересседельник душит меня, я задыхаюсь.

Проклятый Севастьяныч! Это он впряг меня в эти смертельные оглобли! Наверное, я не выдержу. Ноги слабеют, уже нет сил говорить какие-то ненужные слова итальянцу, выправлять сани.

Передохнуть бы! Остановиться... Но за нами движется еще полусотня упряжек, кто посмеет их задержать?

Как быть? Куда запропастился окаянный Севастьяныч? Ведь он не везет саней, мог бы пособить...

Все сильнее режет холку узкий ремень. Джованни напрягается изо всех сил и все же виснет на мне, я никну вместе с ним в перекошенных оглоблях. Так через какую-нибудь минуту мы свалимся оба...

Ударить его, выбросить из построения на обочину? Я спасу свою жизнь, его пришьют на месте — конец один. Выбирать нечего, здесь каждый стоит только за себя...

-- Джованни, скотина! — хриплю я. Пот выедает мне глаза. Я только еще думаю, как избавиться от повисшего на моей шее Джованни, но я еще не могу сделать этого, мне нужно еще взвинтить нервы, озвереть...

Так, видимо, чувствует неумелый пловец при попытке спасти утопающего, когда попадет в его бессознательные, смертельные объятия...

Поздно! Вода уже льется в рот, в уши, нет сил вырваться, вынырнуть из темной бездны... Еще, последний глоток воздуха...

Нужно вытолкнуть проклятого итальянца под выстрел, тогда я останусь жить. Но я не могу вытолкнуть его, пока работает с удивительной отчетливостью мозг...

Ох, тяжела ты, лошадиная доля!

-- Джо-ван-ни-и!

Падаем, что ли? Уже — все?

Но старик! Каков наш старик! Он появился все же, дьявол третий! Он всегда появляется там, где нужно. Подхватил уже угасающего итальянца под левый локоть, бормочет что-то гневное и утешающее на ухо. Уже выровнялись оглобли, ослаб нашейный ремень, можно вздохнуть наконец. Можно вздохнуть с облегчением, проклинать себя за постыдную мысль, что промелькнула минуту назад, как клочок неба над

утопающим...

Фу-фу! Я выравниваю шаги, но тут происходит непоправимое. Поддержка сразу вытряхнула из Джованни остатки воли.

-- Куоэр! Сердце! — застонал он хрипло и упал на колени.

Севастьяныч, оробев, еще тянул его вперед, волочил по дороге, принуждая подняться, выжить.

Шаг, еще шаг вперед... Нужно остановиться, отдохнуть, человек ведь еще сможет перевести дух, человек еще должен жить!

Оглянулся Володька.

А что он сможет сделать? Что мог бы сделать я? Я держу оглоблю, стараясь помочь Севастьянычу, но этого уже мало...

Шрам вспыхивает багровой кровоточащей раной.

Топчутся на снежной, прикатанной дороге покоробленные солдатские сапоги с завернутыми голенищами. Над трепыхающейся, рваной ушкой правого сапога я мимолетно замечаю медную рукоятку ножа.

Володька швыряет шест вперед, на воз, и вдруг в два прыжка обгоняет передние сани. В десяти шагах перед ним — конвой. Что он вздумал, шальная голова?

Ничего особенного. Он садится на дорогу по-азиатски, скрещивая ноги, и очень лениво сует руку в карман штанов.

Володька смотрит на нас, и в его слишком спокойных глазах застыли решимость и дерзость.

-- Перекурим это дело? А, братцы?

Передняя упряжка сбилась с ноги, колонна замерла. Сзади донесся выстрел — стреляли вверх для выяснения причины. Передние конвоиры с карабинами наперевес шарахнулись к Володьке.

-- Ауф!

Человек невозмутимо сворачивает чинарик, мирно, старательно выгребает из карманов остатки махорки, крошки и разный мусор. Он так занят своими карманами, что вовсе не замечает ни карабинов, ни конвойных. Табака, по-видимому, у него нет, но он все же сворачивает самокрутку.

-- Ауф штейн!

Немцы почему-то не стреляют в него.

Володька достает кресало — «катушку» и начинает высекать огонь. Лениво появляется дымок, воняет трутом. Володька раскуривает папиросу, причмокивая губами, сплевывая. Минута, другая — невероятно растягивается время...

Немцы почему-то не стреляют в него. Генке надвигается, угрожает карабином. Но недвижимо сидящий человек неприступен даже для вымуштрованной немецкой овчарки — это собачье чувство испытывает,

видимо, и конвоир.

-- Ауф штейн, канальен!

Володька смотрит исподлобья, в упор — в самые глаза Генке:

-- Я т-твою маму... гад!

Немцы не стреляют.

Севастьяныч торопливо выпростал Джованни из постромочной петли, поставил рядом с санями, повелительно подкинул бессильные руки: держись за бревно, Ванька! Держись, я покуда тебя сменю в лямке-то!

Джованни тяжело дышит, хватаясь одной рукой за грудь, другую не торопится убирать со спасительного бревна. По тощему лицу катятся грязные крупные слезы. Он не вытирает их, содрогаясь от глухих рыданий.

Володька затягивается едким бумажным дымом, все так же ест глазами тотального конвоира. И, когда тот замахивается прикладом, торопливо вскакивает на ноги.

-- Эх ты, крематорий, сучья морда! — хрипло бормочет он. Отряхнув с вислого зада штанов снег, вразвалку идет на свое место. — Поговорили, поехали... — кивает нам, вооружаясь шестом.

Володька смертельно устал за эти минуты. Я вижу это по его заплетающимся шагам, низко и безвольно склоненной голове.

В барак после погрузки мы возвращаемся измочаленными. Силы оставляют людей, но еще надо выстоять час у кухни, проглотить еду...

Вытянувшись на нарах, я собираю все силы, поворачиваюсь к соседу.

-- Как же ты... осилил это, брат? Неужели в заговорное слово веришь? Или две шкуры у тебя?

-- А ведь не убили, гады! — со злобой прошептал Володька. — Вот чего мы все ни черта не поняли до сих пор, это — немецкую душу. Они же твердо знают, что через неделю должны расстрелять меня. Согласно порядку, понял? И поэтому... — Он вдруг подмигнул мне: — Неделя еще в запасе у меня!

Пришел шеф с обыском и отобрал у Володьки «катюшу»...

После обыска Володька исчез.

Вернулся он не скоро. На этот раз принес под полой полбуханки хлеба, но есть не стал. Сидел на нарах, резал мелкими ломтями и прятал в подкладку, за пазуху, в карманы штанов.

Думаю, что видел его странные приготовления я один. И на этот раз я победил свой голод — мне не за что было обижаться на соседа.

У него есть еще силы для побега. До шведской границы их, возможно, хватит. И хлеб нужен по справедливости не мне, а ему...

Погода переменилась неожиданно.



Мороз упал сразу, в одну ночь затопив все белым молозивом испарений. Трещали старые сосны, и лопался лед открытых болот.

Промерзшие двери блоков блестели изнутри грязно-перламутровыми разводами наледи.

На сотню верст кругом замерла жизнь.

А нас гонят на работу. Мир ополчился на человека.

Мы навьючиваем на себя все, что можно собрать с нар: одеяла, полотенца, закручиваем ноги тряпьем. Мы похожи на чудищ.

Когда ныряешь из дверей в белый туман, кажется, что в обувь, в рукава, за пазуху наливается ледяная вода. Мгновенно коченеет лицо, руки в бумажных рукавицах лубенеют, сходятся с парю и наконец становятся каменными.

Истощенные синие люди рысцой, из последних сил бегут к вахте, чтобы не примерзнуть к земле. От дыхания вокруг каждой головы струится сквозь туман розоватый нимб — души зримо расстаются с телом. Такие нимбы я видел когда-то на владимирских иконах над ликами великомучеников и святых.

Неправдоподобно резки звуки. Кто-то уронил приподнятую оглоблю — треснуло, словно обухом по льду.

Пять километров зыбучей рыси с короткими отдышками вымотали из нас последние силы. Дышать нужно только через нос, иначе не минуем воспаление легких и, значит, яма. Нос леденеет, как сосуля. Небритые лица топорщатся покойничьей сединой.

Охраняют нас два конвоира, нет Генке. Стало быть, их сменяют в полдень. А кто освободит нас от этого ада?

Делянка встречала мертвой тишиной. Затем с барабанной дробью попадали оглобли, люди спешили оттирать обмороженные лица и руки, освободиться от упряжи.

Но как лезть в такой морозище в снег? Как взять в окаменевшие руки топорщице и сизую пилу?

Обогреться!

-- Фойер! Фойер! — вопит Фриц, временный начальник конвоя.

Немцам легче. Они, конечно, хватили перед нарядом шнапса, закусили салом. И все же Фриц нервничает, торопит с костром...

Севастьяныч по привычке направился к высокому пню, где всегда оставлял Генке свою зажигалку. Но пень, припорошенный легчайшей пылью изморози, чист — на нем ничего нет.

-- Фойер! Фойер! — в свою очередь кричит Севастьяныч конвоиру и машет руками.

Володька тем временем возится в старом, протаявшем до земли кострище, не теряя минуты, укладывает старые головешки и угли в

порядок, чтобы от единой искры поскорее раздуть пламя.

-- Что тянут, черти? — поднимает он обмотанную полотенцем голову.  
— Давайте же огня!

Немец виновато хлопал себя по карману: нет у него зажигалки, некурящий он, здоровье бережет.

Севастьяныч побежал на второй конец деляны. Но и другой конвоир бессилён помочь, хотя зябко пританцовывает и втянул голову в плечи. Карабин придерживается локтем, немеют руки. Война подходит к концу, все начинают оберегать здоровье.

-- С-собаки!.. — жестоко матерится Володька у холодного костра. — Братцы, давайте «катюшу», в момент раздуем!

Происходит нечто страшное, злая насмешка судьбы. Ночью, оказывается, у всех курцов изъяли кресала и огнива...

Не все понимают, что случилось. Но Джованни уже безвольно опустился на корточки, обхватив голову руками, притих. Он «доходит» на глазах у всех. И никто не может ему помочь. Нужно тепло, которого у людей нет.

Нет, не мороз, а настоящий столбняк сковывает меня. Я вижу, как паника охватывает людей, лица заостряются, движения и взгляды вянут. И над всеми виснет страшная брань Володьки:

-- Гады, сволочи, рогатики! Поотдавали добром последнее — прикурить нечем! Колейте в лесу ни за грош — кто пожалеет! У-у, дурья башка!

И колотит себя по голове.

Снять нас отсюда до времени Фриц не имеет права. Все... Кранты!

Если кто и уцелеет до вечера, то весь будет обморожен и насквозь простужен. Крематорий или яма... Здесь, в Норвегии.

Стадное чувство охватывает людей. Они жмутся друг к другу, бесцельно толкуются на месте, ждут неведомого. Над черной толпой стоит пар. Мне кажется, что пар непрерывно тает, становится с каждой минутой прозрачнее. Его хватит на час, на два часа, не больше.

Некоторые, как Джованни, опускаются на корточки, безвольно прячут головы в коленях.

«Этого не может быть!» — кричит душа, но я не знаю, что нужно делать сейчас. Я тоже пытаюсь втиснуться в середину толпы. Наивно верю, что там теплее. Идет молчаливая борьба за середину, люди работают локтями, толкуются, оттесняя друг друга.

Через головы я вижу конвоиров. Словно оловянные, они прыгают вокруг негреющих кострищ, втянув головы в плечи. Они все понимают не хуже нашего, у них тоже мало радости, но снять заключенных с этой проклятой деляны тотальники не собираются, за это — полевой суд...

Крепкая рука просовывается мне под локоть, вытаскивает меня из толпы. Это Володька. Не глядя на меня, он пристально изучает взглядом конвоиров.

-- Рванем? — тревожно шепчут мерзлые губы Володьки.

У меня холодеет душа.

-- Через час и тех дубарь заберет, — едва уловимыми движениями кивает он в сторону Фрица. — Рванем, а? Один черт — околевать!

Я опускаю обледеневшие веки, гляжу на свои колодки — ноги в них уже не чувствуют холода. Я бы пошел за ним даже без всякой надежды, но... нет сил! Я смотрю на Володьку не с завистью — со страхом.

Совсем близко сгорбился на корточках Джованни. Он недвижим, застыл, кажется. Несколько мгновений мы оба глядим на итальянца, и мне кажется, что Володька сравнивает нас: оба мы уже одной ногой переступили страшную черту на тот свет.

«Он сильнее всех, — копошится в моей голове равнодушное, безвольное сожаление. — Он еще может уйти. А я уже никуда не похужу...»

Локоть мой Володька уже отпустил, меня снова тянет в толпу, охватывает апатия.

Зачем раньше я так старался сохранить свою жизнь?

Зачем тяжело раненный под Белой Глиной, преодолевая страшную боль, рвал зубами гимнастерку и пытался остановить кровь, если приходится в конце концов так глупо погибать? Почему не выстрелил последним патроном в собственную грудь, когда вместо санитаров ко мне подошли фашисты?

Почему?

Но ведь я и сейчас могу броситься на конвоира, и он пристрелит меня, не моргнув глазом. Почему же я не бросаюсь на него, а жмусь в самую середину толпы?

Ног я уже не чувствую вовсе, только мелко, по-собачьи дрожат сухие икры. У меня, кажется, начинается галлюцинация слуха...

Совсем рядом кто-то колет дрова. От сильного удара звонко раскололся еловый чурбак... Да, с таким звоном раскалывается только ель. Музыкальная ель...

Но галлюцинации не было, был настоящий звон топора, толпа оборачивается разом в одну сторону. У черного кострища над расколотым с маху чурбаком стоит с топором Володька.

Значит, он все же не ушел? Остался?

Злобно глянув на нас, он молча рвет с головы грязное полотенце и, схватив шапку, отчаянно — об землю:

-- Была не была, в бога креста!..

В три метких, сноровистых удара он вырубает в утоптанном, заледенелом снегу продолговатое ложе, пинком загоняет в него половину чурбака плоской стороной кверху.

Никто ничего не понимает. Непонятно даже, как он может каменными пальцами держать ледяное топориче.

Володька распахивает ватник. Носком топора вдруг жестоко располосовывает подкладку и, сбросив рукавицы — это невозможно! — выхватывает голыми пальцами огромный клок серой ваты.

Мы не знаем, на что он решился. Мы все бывалые солдаты, но мы не видали ничего подобного в жизни.

Клок ваты превращается в его скрюченных пальцах в толстый жгут.

Мороз давит еще сильнее. Володька торопливо, не глядя на нас, надевает рукавицы, падает на колено и хватает в руки вторую плаху! Так! Ватный жгут зажат между плоскостями сухих поленьев...

Сильным движением он толкает плаху вперед и сразу же рвет на себя. Плечи у него округлые, сильные. Движения учащаются, он катает вату с остервенением, скатывает ее в тонкую веревку, гоняет без конца меж поленьев. Коротко остриженные волосы Володьки, кажется мне, встали дыбом, он яростно шепчет ругательства, катает, катает вату!

Нет, пожалуй, ничего в нем нет волчьего. Сейчас, распластавшись над плахами, он скорее напоминает ястреба, упавшего к нам с неба, жестоко рвущего добычу.

Но никакой добычи нет. Есть два полена в снегу, ватный жгутик, человек и поток ругательств.

Ох, не те слова шептал, наверное, первобытный человек, добывая огонь и вымаливая милости у богов...

Да и можно ли таким образом добыть искру огня на сорокаградусном морозе?

Трясется ершистая голова, гудят поленья, мелькают руки Володьки. Я слышу запах паленой ваты — пронзительный, горький запах!

Кто-то верит в его работу.

Как вопль о спасении, тишину разрывает крик:

-- Хватит!.. Рви!

И, будто подчиняясь окрику, Володька отбрасывает верхнюю плаху, торопливо разрывает на середине почерневший жгутик. Еще сильнее беспокоит запах горелого, но огня нет. Концы разъятого жгутика лишь слегка почернели.

Володька вскидывает багровое лицо, в глазах его — бешенство. Он может сейчас убить.

-- Кто орал? — задохнувшись, яростно выдавливая он из самой груди.

Все молчали. Он обвел всех, каждое лицо бешеными глазами и, молча

усевшись на корточки, начал заново разбумаживать жгутики, свертывать шнур. Он снова орудовал без рукавиц, но это уже не удивляло нас.

Вокруг Володьки образовался черный заслон, передние склонились над ним, жадно следили за его работой. Немцы тревожно поглядывали издали.

Володька закатал в вату угольную пыль и схватил полено голыми руками...

Он, наверное, разогрелся, забыл о рукавицах. Он гоняет плаху, гоняет ее бесконечно, и я вижу, как синеют его ногти и концы пальцев. На лбу выступила испарина, на кончике носа дрожит капля — капля терпения и ярости...

Откуда ты, человек? Какая заволжная жарынь таилась до поры в твоём приморенном теле? Сколько же российского солнца вобрал ты в душу, чтобы пересилить холод? И где ты, парень, узнал, что можно так вот, запросто добыть спасительный огонь?

Снова возникает вонь горелой ваты. Все затаили дыхание, всякое слово в такую минуту запрещено, молчание рождает веру.

Володька гоняет полено, вертится хилый жгутик. Смердяще коптит вата.

Хрипло, загнанно дышит уставший парень, но сменить его нельзя, уйдет драгоценное время. И он отдает последние силы.

В изнеможении Володька падает на локоть, лежа разрывает дымящийся фитиль. Концы, обугленные по краям, подмигивают нам двумя тлеющими, красными угольками. Не вставая, ленивым движением Володька протягивает один фитиль мне...

Я хватаю его дрожащими руками и с фанатичным стоном начинаю раздувать. Уголек разгорается, пламенеет, в нос и глаза мне лезет душливый едкий дым, я захлебываюсь слезами и слюной, но дую, дую в это искрящееся, жаркое чудо.

Севастьяныч уже раздул от второго конца старые головешки, осторожно просовывает в раскаленную сердцевину углей кудрявые берестовые стружки и, сморкаясь и всхлипывая, суется лицом и бородой в головни.

Дикий вопль в сто глоток потрясает лес — береста вспыхнула! Вспыхнул, закачался посреди снегов красный огонь!

Володька лежит у сотворенного им огня, болезненно морщится, растирая снегом примороженные пальцы.

Я молча смотрю на него, потрясенный. И огонь уже пригревает меня с одной стороны. Блаженно, смежив дрожащие веки, совсем не дыша, сидит Джованни. Он еще будет жить, потому что тепло все же существует на этой разнесчастной земле...



Со всех сторон подкладывают дрова. Мерзлые поленья разгораются с торжествующим треском. Огромные, прозрачно-белые угли осыпаются в kloчущее, шипящее и стреляющее недра. Огненный вихрь охватывает всю поленницу сразу, вырываясь в небо огромным и жарким крылом. Мы раздвигаемся, все больше и больше становится места у костра. Севастьяныч с трескучей головней идет в конец деляны обогреть конвоиров.

Бушует тепло...

...После смены караула Генке снова отогнал нас от огня. Сани были нагружены полностью, но этот конвой верен своим принципам до конца.

Мы прятались в богатой хвое, у поваленных елей, Пережидали время и не заметили, когда на делянке появился еще один немец с собакой.

Пес жался к ногам проводника, поднимал поочередно передние лапы, будто обжигался на ледяном насте, и заглядывал в лицо хозяину — привычный к сторожевой службе пес не выдерживал адского холода.

Немец посоветался с конвоиром, подошел к костру.

-- Кто есть Иванофф? — спросил он.

Мы переглядывались, словно заново узнавая друг друга. Среди нас не было Иванова.

-- Кто есть Ивано-фф?!

Из-за черного куста вышел Володька:

-- Я — Иванов.

Конвой вьелся глазами в нагрудный знак «319».

-- Ком! Вперед!

Собака натянула поводок.

Володька обвел деляну пристальным, запоминающим взглядом, прощально кивнул Севастьянычу и мне.

Никакой обиды в его глазах я не заметил. Он не обижался в эту минуту, что я не пошел тогда с ним, — да и какое значение имели теперь наши счета? Он просто кивнул нам и сутоло двинулся к наезженной дороге.

Мы, сбившись в толпу, молча смотрели ему вслед.

Мы знали, куда уводили Володьку.

Когда за пнями и кучами валежа последний раз мелькнул его немецкий, сдвинутый набекрень картуз, Джованни дрожащей рукой поправил тряпку на шее, у самого горла, и произнес по-итальянски:

-- Прометео...

Старик Федосов тронул меня за рукав, указал на итальянца:

-- Чего он? По-своему как-то назвал... Не знаешь?

Я молчал.

Джованни пристально, вытянув шею, смотрел в конец делянки, туда, где нас подстерегал с карабином Генке, потом перевел взгляд на сиротливо пылавший костер Володьки.

-- Прометео... — повторил он шепотом и, как-то весь собравшись, зашагал через вырубку к неукротимо зовущему костру...

1960 г.